

Humanitas

Нестор Котляревский

Михаил Юрьевич Лермонтов

*Личность поэта
и его произведения*



Нестор Александрович Котляревский Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения Серия «Humanitas»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12139769

Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения:

Центр гуманитарных инициатив; Москва; 2015

ISBN 978-5-98712-035-4

Аннотация

Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) – литературовед, публицист, критик. Книга о Лермонтове написана в 1891 году, в год пятидесятилетия со дня кончины поэта и к 1915 году выдержала пять изданий. Книга позволяет проникнуть в творческую лабораторию М. Ю. Лермонтова, раскрывает глубину и остроту его мысли, богатство оттенков его настроения, отклик его поэтической души на все впечатления жизни, его раздумья над нравственной ценностью жизни и нравственным призванием человека. В Приложении публикуется очерк об А. И. Одоевском из книги Н. А. Котляревского «Декабристы».

Содержание

I	7
II	12
III	14
Детство и юность	19
I	19
II	23
III	26
IV	30
Юношеские стихотворения	32
I	32
II	37
III	43
IV	53
V	56
VI	59
VII	64
VIII	67
IX	72
X	76
Учителя и книги	84
I	84
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Нестор Котляревский Михаил Юрьевич Лермонтов. Личность поэта и его произведения

Серия основана в 1999 г.

В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты Центра гуманитарных научно-информационных исследований Института научной информации по общественным наукам, Института философии Российской академии наук

© Левит С.Я., составление серии, 2015

© Центр гуманитарных инициатив, 2015

* * *

Эта книга была написана в 1891 году, в год пятидесятилетия со дня кончины Лермонтова. Тогда много говорили и писали о Михаиле Юрьевиче. Суд потомства над ним как человеком и поэтом поражал отсутствием согласия в конечных выводах. Каждый из судивших истолковывал по-своему душу писателя и смысл его слов, по-своему оценивал обще-

человеческое или историческое значение его поэзии.

Такое разногласие не должно удивлять нас, если мы вспомним, какой сложной, полной противоречий, какой загадочной психической организацией был одарен Лермонтов: как глубок был смысл его речей – плод его острой мысли – и как богато оттенками его настроение – отклик его поэтической души на все впечатления жизни, не только его окружавшей, но жизни вообще как великой нравственной проблемы.

Долгие годы, протекавшие со дня кончины Лермонтова, сохранили его живым для нас. Много, о чем он думал, осталось и для нас предметом живого размышления; многие из его страданий и радостей продолжали и нас печалить и радовать, и мы, говоря о нем, не могли забыть о себе.

Личные симпатии и антипатии должны были примешаться к суждениям об этом большом поэте и вместе с тем столь типичном выразителе и истолкователе одной весьма знаменательной эпохи в истории нашей образованности.

Жизнь поэта была, таким образом, продолжена за пределы его гроба, и это было новым оправданием красоты его поэзии и ее общечеловеческого смысла.

История жизни Лермонтова в настоящее время восстановлена – насколько это допускают дошедшие до нас скудные сведения. Нельзя сказать, что это жизнеописание во внешних своих очертаниях представляет большой интерес. Поэт умер очень рано и в книге жизни успел перелистать лишь несколько страниц, и то довольно однообразных. Но он

в себе самом носил целый мир чувств, идей и видений.

Эти мысли, настроения и грезы он облек в художественную поэтическую ризу. Для всех, кто чуток к красоте, кто склонен и любит думать о ее смысле и назначении в нашей жизни, поэзия Лермонтова навсегда останется неиссякаемым родником наслаждения и размышления.

Но в ней есть и иная сила, столь же вечная, как ее красота. В художественную форму облекла эта поэзия целый ряд вопросов нравственного порядка – вопросов, не только связанных с определенным историческим моментом нашей русской жизни, но связанных вообще с бытием человека, поскольку человек мыслит и ощущает себя не единичным явлением, а частью единого целого, в отношении к которому у него есть и права, и обязанности.

Лермонтов – из семьи моралистов, искателей нравственной истины.

Чего искал он и как искал – вот вопрос, на который автор настоящей книги желал бы ответить.

I

Раздумье над нравственной ценностью жизни и нравственным призванием человека составляет одну из отличительных черт минувшего XIX века. Он был веком тяжелых испытаний для нашего нравственного чувства и вместе с тем веком очень сильного воздействия всевозможных этических учений на самый ход жизни. Редко когда человек мучился так вопросами личной и общественной этики, как в это столетие, начавшееся с крутой ломки главнейших устоев духовной и материальной жизни культурного мира и окончившееся ожиданием столь же радикального перелома.

Века зарождающегося и торжествующего христианства, равно как и эпоха реформационных движений, могут, конечно, по силе и глубине поднятых в те годы нравственных вопросов поспорить с XIX столетием. Но надо помнить, что первые христиане и реформаторы в своей борьбе за новый или обновленный нравственный идеал жизни имели одну великую союзницу – сильную своей простотой и наивностью религиозную веру, которая освящала нравственные понятия, утверждала кодекс личной и общественной этики и давала людям готовую формулу поведения. XIX век, наследник скептицизма и рационализма предшествующих двух веков, такой неизменной союзницы не имел и теоретическое построение морали и практическое проведение ее в жизнь

свершал главным образом при поддержке свободного разума и свободного чувства, которые все более и более освобождались от всякой не ими установленной санкции. Такая свобода приводила к великим умственным и душевным колебаниям и тревогам и дала в результате то поражающее разногласие в философских основах морали и в программах практического проведения в жизнь принципов добра и справедливости, которое бросается к глаза при самом беглом взгляде на ход развития культурной жизни за минувшее столетие. Моралист-теоретик или практик, открытый или тайный, – вот тот повсеместно распространенный тип культурного человека, который в изобилии выработан XIX веком. Служители церкви разных вероисповеданий перенесли центр своих интересов с вопросов богословских на вопросы нравственные, стремясь главным образом оправдать истинность своих религиозных догм не столько перед Богом, сколько перед людьми... Философы всевозможных школ завершали свои философские системы построением морали на принципах умозрения, не говоря уже о том, что сама этика разрослась в целую самостоятельную науку, обогащенную новым материалом, добытым антропологией, этнографией, языковедением и естественно-историческими знаниями... Люди строгой науки, которые могли оставить нравственные вопросы вне поля своего зрения, – и они – физиологи, биологи и зоологи, не говоря уже об историках всех видов и направлений, – старались привести свою науку в связь с этическими требова-

ниями человеческого духа... Если от людей теоретической мысли мы перейдем к людям практического дела, то общий и самый беглый взгляд на политические и социальные движения, которые в XIX веке во всех культурных странах проявлялись так решительно и в таком разнообразии, убедит нас еще более в том, как настойчиво современный человек стремился и стремится устроить свою земную жизнь согласно с теми нравственными принципами, которые он признает разумными и природе человеческой свойственными. Наконец, поэты и художники, и они не избежали в минувшем столетии этого самовластия моральной мысли и чувства – и стоит только углубиться в мир их мечтаний, чтобы увидеть, как часто они отождествляли свою роль творцов красоты с ролью наставников, проповедников житейской мудрости, пророков добра и истины, законодателей и вождей. И как много мучились они над вопросом о связи добра и красоты, которой они служили, как поспешно подчиняли они иногда красоту добру и затем, рассерженные, как резко и раздраженно пытались они порвать всякую связь между ними!

XIX век – век своеобразный по интенсивности в людях нравственной мысли и чувства, век, когда недовольство установившимися этическими нормами жизни заставляло людей часто переоценивать все ценности, от утверждения быстро переходить к отрицанию, от любви к ненависти, от смирения к восстанию.

Этот интерес к вопросам нравственного порядка – к во-

просам личной и гражданской этики, теоретической и практической, — был в минувшем веке очень силен и у нас в России. Особенности нашего политического и общественного строя не могли, конечно, не отразиться на тех формах, в какие облеклась эта этическая мысль у нас. При неподвижности и косности мысли религиозной, при отсутствии широкого и разностороннего гласного обсуждения многих самых существенных сторон жизни, при всех тех стеснениях, какими у нас было обставлено всякое проявление свободной инициативы в мыслях и деяниях, трудно было встретить смелого и свободного моралиста на открытых поприщах теоретической или практической деятельности. И вся воспитательная работа в этом направлении почти всей своей тяжестью легла на служителя искусства, преимущественно, конечно, искусства словесного. Художник-писатель под давлением этической мысли, узкой или широкой, личной или общественной, привыкал смотреть на себя как на судью, который должен дать известную нравственную оценку окружающей его действительности; и это неравномерное распределение ролей в деле общественного воспитания поставило русского художника-писателя в положение исключительно трудное.

Как сын своего века, столь увлеченного этическими вопросами, и, кроме того, как гражданин страны, где всякая моральная проповедь, глубоко врезающаяся в жизнь, обставлена всяческими стеснениями, художник-писатель, без поддержки иных культурных сил, имел много случаев заду-

маться над своим призванием и над своим нравственным долгом перед жизнью; и эти думы становились для него источником больших мучений.

II

Из всех людей, стоящих в первых рядах общества, никто не бывает так безоружен перед этическими вопросами жизни, как поэт, этот признанный баловень природы.

Сложная и весьма часто болезненно напряженная нервная система; повышенная отзывчивость на все впечатления жизни без разбора; мир мечты и видений, заслоняющий так часто реальный облик жизни и тем обостряющий столкновение с нею, держат художника в постоянной тревоге духа; и чем сложнее запросы жизни, его окружающей, тем труднее и запутаннее его отношение к ним. Ему, более чем кому-либо, приходится страдать от постоянного разлада идеала и действительности, так как результаты его деятельности менее осязательны, чем плоды какой-либо иной работы.

Способность преображать и людей, и минуту; способность жить в ином мире силою своего воображения, иногда торжествующего, а иногда беззащитного перед сарказмами рассудка; поэтическая идеализация земных чувств и умение наслаждаться призраками, как бы предметами земными и осязаемыми, — все выводит поэта на опасный путь раздвоения и вражды с окружающей его обстановкой, если его фантазия не настолько сильна, чтобы поработить в нем все остальные духовные силы и заставить его совсем забыть о том, что он видит плотскими глазами.

Этот разлад в душе поэта может быть смягчен и умиротворен лишь одним сознанием – уверенностью, что его поэтическая греза есть живая сила, которая при всей своей видимой отчужденности от жизни не что иное, как сама эта жизнь, но только в своеобразной форме. Художник должен прежде всего сознать свою солидарность с окружающими людьми – как бы он на них ни сердился и даже ни презирал их, – потому что только эта солидарность, эта нравственная связь обеспечивает ему самое ценное – уверенность, что он сам есть сила живая, действующая, а не призрачная.

III

Душевные страдания Лермонтова, застывшие в столь красивых формах, проистекали из его раздумья над вопросом, в чем и как должна выразиться связь между ним, поэтом и человеком, и людьми, среди которых судьба ему жить определила.

Лермонтов с самых юных лет старался выяснить себе свое, если так можно выразиться, общественное положение в самом широком смысле этого слова. Вопросы религиозные, философские и политические скользнули по его глубокому уму и взволновали его душу, и он умер, не успев доработаться в раздумии над этими вопросами до какого-нибудь определенного объединяющего мировоззрения. А ему нужна была ясность во взгляде на мир и в понимании своей роли в нем, так как с детских лет он был убежден, что судьба забросила его на землю для какого-то великого подвига. Он чувствовал в себе большую силу характера и таланта и не знал, куда ее направить. Мир представлялся ему ареной, которая ждала его выхода, его борьбы за идеалы. Он страдал от того, что эти туманные, но облюбованные им идеалы не укладывались ни в определенную теоретическую формулу, ни в практическую программу. Эти поиски идеалов и эти мечты о своем великом призвании были в поэте не чем иным, как проявлением сознания своей связи с людьми и обнаружении

ем желания служить им в одной из самых ответственных и трудных ролей героя. Не покидавшее поэта сознание своей беспомощности перед этой высокой задачей стало источником его недовольства жизнью, его разочарования и его скорби.

Михаил Юрьевич Лермонтов, как известно, умер очень рано, на 27-м году жизни (родился 2–3 октября 1814 года. Умер 15 июля 1841 года). Ранняя смерть прервала его литературную деятельность, быть может, в тот самый момент, когда талант его, пройдя через длинную подготовительную школу литературного и жизненного воспитания, был накануне полного расцвета. В оставшихся произведениях Лермонтова перед нами далеко не законченная картина, а лишь более или менее вырисованные этюды и наброски.

Естественно, что от человека, который жил так мало, мы не вправе требовать устойчивого решения труднейших вопросов жизни. К этому решению Лермонтов только готовился, и вся его литературная деятельность не что иное, как отражение этой духовной работы, постоянно кипучей, нервной и часто до болезненности изнурительной.

По своему темпераменту Лермонтов был натурой очень деятельной, живой в мыслях и поступках; его фантазия никогда не вызывала в нем мечтательно-томного пассивного настроения, а наоборот, отрывая его от слишком монотонной будничной жизни, переносила его в мир образов, где все было огонь и движение. Жить и творить значило для него

волноваться. Как в жизни он не мирился ни с одним из своих положений, светского ли человека или военного, так и в своей поэзии он не мог найти покоя и отдыха. Смотреть на мечту как на мирную пристань для взволнованного и мятежного духа Лермонтов не мог. Он не мог усвоить себе того тихого и ровного творчества, того душевного покоя и чувства удовлетворения, какое испытывали, например, его ближайшие предшественники, поэты 20-х годов, ограждавшие себя мечтой от сует и волнений жизни.

Для Лермонтова – поэзия которого не выходила из круга личных ощущений и настроений – анализ собственного сердца был результатом мучительной борьбы двух спорящих душевных состояний: изнурительной жажды какой-то великой, героической деятельности и сознания своей несвободы, своего бессилия в утолении этой жажды. При таком душевном разладе никакое примирение с жизнью на почве чисто эстетического ее созерцания или пересоздания не могло состояться.

Не мог поэт доработаться и до спокойного и широкого философского взгляда на жизнь и на роль искусства в жизни. К отвлеченному мышлению, к которому его не подготовили ни природа, ни воспитание, он не имел склонности, и утешение в философии не пришло ему на помощь.

Единственный возможный выход из этого тяжелого разлада идеалов и жизни, надежд и разочарования была борьба, вмешательство в самую жизнь, во имя определенных нрав-

ственных принципов. Но для этого нужно было, прежде всего, иметь такие определившиеся идеалы и, кроме того, жить при условиях, благоприятных для их утверждения и обороны.

Туманность идеалов и неустойчивость взглядов на коренные нравственные вопросы жизни причиняли поэту большие страдания, питали в нем его разочарование и ту склонность к меланхолии и грусти, которой с рождения наделила его природа.

Не было ни одного живого вопроса минуты, которого бы Лермонтов не затронул вскользь и от которого бы не отвернулся с тайной досадой на свою беспомощность овладеть им и с раздражением против обстоятельств и людей, которые этот вопрос запутали.

Трудно вычитать идеалы из книг, не имея перед глазами самой жизни, которая своим живым, быстрым и шумным движением рождает в умах людей то или другое требование разума и в их сердце то или другое острое желание. Писатель на Западе, присматриваясь к окружавшей его действительности и свободно разбираясь в ней, строил и проверял свое мировоззрение на живом течении событий. Русская жизнь шла своим особым шагом, и поверхность ее была в годы, когда жил Лермонтов, так гладка и невозмутимо спокойна, что угадать ее насущные, и притом скрытые, потребности, умственные и нравственные, было делом нелегким. Редкие из наших передовых людей 30-х и 40-х годов угадали эти по-

требности – но Лермонтов не принадлежал к их числу. Из того знания, каким он обладал, он не мог создать себе цельного взгляда на насущные запросы современности. Все в нем было брение, порыв, колебание и сомнение. Вина была, конечно, его, но большая часть вины должна быть поставлена в счет самой русской жизни того времени, которая давала так мало пищи умам и сердцам людей, по природе своей более склонных к действию, чем к тихому мечтанию.

И зла была ирония судьбы, которая так неожиданно прервала жизнь поэта!

Поэт, который с детских дней мечтал о какой-то великой деятельности, о героических подвигах, в котором каждое движение души было порывом и вспышкой или тоской по идеалу, писатель, откликавшийся по мере сил на все запросы современности, оставил нам в своем наиболее ярком литературном типе образ печального, разочарованного, озлобленного и совершенно бесполезного человека, прожигающего свою жизнь без всякой мысли о каких-либо идеалах.

Как мог сложиться в творческой фантазии Лермонтова этот тип, который, несомненно, хранил частицу души самого художника?

Детство и юность

I

Сведения, какие мы имеем о детстве и ранней юности Лермонтова, крайне скудны. Уединенная, замкнутая жизнь в деревне, в кругу семьи, совершенно скрыла от нас те первые ступени духовного развития поэта, которые особенно ценны для биографа. Когда мы знакомимся с Лермонтовым как писателем, перед нами уже 15-летний мальчик, с довольно характерным мирозерцанием и нравственным обликом, основные черты которого сохраняются у него до самой смерти. Вопрос, каким образом сложился этот своеобразный ум и характер, какие события внешней жизни повлияли на выработку таких, а не иных склонностей и взглядов ребенка, должен остаться открытым и может допустить лишь приблизительное решение.

Семейная жизнь родителей Лермонтова не была счастлива. Мать вышла замуж по любви, но против воли старших, и поставила этим в своей семье себя и своего мужа в неловкое положение. Юрий Петрович, отец поэта, был человек мягкий, довольно легкомысленный, но, по-видимому, не вполне достойный той жертвы, какую ему принесла его супруга. Больная и нервная женщина, она умерла очень рано, и ребен-

нок остался на руках бабушки, которая после смерти дочери не имела особых причин стесняться с зятем. Они рассорились, и отец был вынужден уступить своего сына бабушке и уехать.

В первые годы детства эта семейная драма была для ребенка, конечно, тайной; но с годами она стала ему открываться и вызвала в нем сильное нравственное потрясение. Бабушка не переставала вести постоянную войну с зятем, и мальчику приходилось нередко колебаться между живым чувством к страстно его любившей женщине и чувством более идейным, которое он питал к своему отцу. Юрий Петрович наезжал лишь изредка навестить своего сына и не решался взять его к себе, так как не имел достаточных средств, чтобы дать ему должное образование и воспитание.

Решить семейной загадки в чью-либо пользу ребенок, конечно, не мог, и потому в мечтах преувеличивал то свою любовь к отцу¹, то свое раздражение против бабушки; он рисовал в самых мрачных красках судьбу несчастного, гонимого

¹ Когда его отец скончался, Лермонтов посвятил ему стихотворение, в котором правды, вероятно, было столько же, сколько и преувеличения: Ужасная судьба отца и сына Жить розно и в разлуке умереть, И жребий чуждого изгнанника иметь На родине с названьем гражданина! Но ты свершил свой подвиг, мой отец. Постигнут ты желанною кончиной; Дай Бог, чтобы как твой, спокоен был конец Того, кто был всех мук твоих причиной! Но ты простишь мне! я ль виновен в том, Что люди угасить в душе моей хотели Огонь божественный, от самой колыбели Горевший в ней, оправданный творцом? Однако тщетны были их желанья: Мы не нашли вражды один в другом, Хотя оба стали жертвою страданья! Не мне судить, виновен ты или нет... [1831]

родителя и в той же степени идеализировал образ своей матери. Однажды мальчику мелькнула даже мысль о самоубийстве. Однако он искренно и всей душой любил свою бабушку и если, в своих поэтических образах, иногда как будто хотел задеть ее за живое, то в письмах не иначе говорил о ней, как словами самой теплой любви.

Биографы часто останавливались на этой домашней семейной ссоре, пытаясь найти в ней главный источник печальных взглядов на жизнь, так рано утвердившихся в уме ребенка. Нет сомнения, что ненормальное положение в семье старило мальчика. Оно вырывало из его юности целую светлую страницу, лишало его семьи в строгом смысле слова, не дало расцвести в нем целому ряду чувств, которые могли бы помешать развитию в его душе излишней склонности к меланхолии, излишнего раздумья над своим одиночеством, над горькой участью отца, несчастьем матери и многими другими вопросами, слишком трудными и опасными для детского ума².

Семейный разлад был важным, но зато единственным мрачным событием в детстве Лермонтова. Семья, в которой он остался жить, не жалела средств на то, чтобы об-

² Поэт вообще любил приводить свою загадочную меланхолию в связь с грустными воспоминаниями об этом выстраданном семейном раздоре. Так, например, он писал: Я сын страданья. Мой отец Не знал покоя по конец, В слезах угасла мать моя; От них остался только я, Ненужный член в пиру людском, Младая ветвь на пне сухом; — В ней соку нет, хоть зелена, — Дочь смерти — смерть ей суждена! [1831]

ставить воспитание ребенка наилучшим образом. Мальчику была предоставлена большая свобода; деревенская жизнь помогла ему рано полюбить природу и простых людей и испытать на себе их умиротворяющее влияние; женское общество, из которого главным образом состояла его семья, развивало в нем много нежных и поэтичных чувств, хотя, быть может, слишком рано воспламенило его фантазию. Гувернеры разных национальностей постоянно поддерживали в нем духовные интересы и расширяли умственный кругозор своего воспитанника, который, живя в глухой деревне, рисковал утратить идейную связь с современной ему жизнью.

В деревне Лермонтов провел 13 лет – не только детство, но и отрочество.

Крестьянский быт был у него перед глазами, и он, как рассказывают, жил в довольно тесном общении с простым людом.

II

Лермонтов иногда вспоминал свое детство и любил разукрашивать его насчет настоящего. Когда в его еще совсем юной душе начались всяческие бури и волнения и на него легла трудная обязанность найти в жизни место и оправдание неясным стремлениям души, поэт, нервный и раздраженный, с грустью говорил о мирном, былом времени, когда его душевная гармония не была, как ему казалось, нарушена никаким идейным или сердечным диссонансом.

Еще в 1830 году, живя в Москве, он писал:
Зачем семьи родной безвестный круг
Я покидал? Всё сердце грело там,
Всё было мне наставник или друг,
Всё верило младенческим мечтам!

[1830]

Та же мысль выражена Лермонтовым и в другом стихотворении, но только более поэтично. Намекая на свою «бурную» жизнь, он сравнивал себя с волной и говорил:

...волна
Ко берегу возвратиться не сильна.

Когда, гонима бурей роковой,

Шипит и мчится с пеною своей,
Она всё помнит тот залив родной,
Где пенилась в приютах камышей...

[1831]

И в 1833 году мы встречаемся с тем ж настроением:
К чему, куда ведет нас жизнь, о том
Не с нашим бедным толковать умом;
Но исключая два-три дня да детство,
Она, бесспорно, скверное наследство.

[1833]

За скудостью посторонних сведений и ввиду молчания самого Лермонтова весь ранний период его жизни остается для нас полузагадкой. Мы можем с уверенностью сказать только одно, что основная черта лермонтовского характера – его грусть, его меланхолия, сказалась в нем необычайно рано, хотя в этот ранний период и сменялась иногда проблесками более светлого настроения, которое потом стало исчезать очень быстро.

Эта грусть, стремление во всех впечатлениях жизни отмечать их печальную сторону, была, несомненно, врожденной склонностью, даром природы, так как в самих фактах юношеской жизни поэта света было все-таки гораздо больше, чем мрака.

Такой дар самой природы был хоть и опасный и печаль-

ный, но он приучал мальчика рано вникать в смысл жизни.

В борьбе с трудными загадками этой жизни Лермонтов, как видно по его самым ранним стихотворениям, прошел прежде всего через ту полосу «романтического», неопределенного, малопродуманного томления, когда земное существование кажется тяжким бременем, когда грустный юноша готов на словах «прервать ток своей жизни», а на деле только начинает ощущать всю прелесть ее юных впечатлений. Жуковский лучше всех умел некогда выразить такое томление.

Чрез эту ступень развития Лермонтов прошел очень быстро, и только в самых ранних его стихах мы можем подметить туманное стремление вдаль, поэтичную тоску по надземному блаженству, томление по какому-то лучшему миру. Очень скоро эти мечты уступили место другому чувству, более определенному, но зато и более печальному.

Мальчик все больше и больше привязывался к земле и стал пристальнее присматриваться к ее явлениям. Томиться по иному миру он переставал, но над миром земным он произнес приговор очень строгий и мрачный.

III

Лермонтову было тринадцать лет, когда его привезли в Москву; он поступил в университетский пансион, а затем в университет, сначала на этико-политическое отделение, а потом на словесное.

В столице поэт сразу попал в совершенно новую для него обстановку. Вокруг него не было ни деревенской свободы и простоты, ни природы, которую он так любил и чувствовал. К тому же он приехал в Москву с несвободным сердцем, насколько может быть несвободно сердце тринадцатилетнего мальчика. В 1825 году, живя с бабушкой на Кавказе, куда она ездила с ним для поправления его хрупкого здоровья, Лермонтов испытал чувство первой сердечной привязанности, которое оставило глубокий след в его памяти.

Перемена обстановки и связанный с нею наплыв воспоминаний, всегда грустных, за отсутствием предметов, которые их вызывали, частые сердечные вспышки, семейные ссоры отца и бабушки, принявшие в Москве особенно острый характер, — все поддерживало в мальчике его меланхолическое, но теперь уже, временами, желчное настроение.

Прежний замкнутый образ жизни резко изменился. Приходилось сталкиваться с товарищами, с их интересами, университетскими и иными; приходилось, наконец, столкнуться и с вопросами общественными и политическими, которые в

начале 30-х годов начинали волновать русское общество.

Ко всем этим новым для него сторонам жизни Лермонтов приноровлялся туго. Из рассказов его товарищей мы знаем, что в университете он занимал в их кругу совершенно обособленное место, друзей не имел и даже ни с кем из них не разговаривал. Верны ли эти рассказы о его угрюмом виде, о его дерзких ответах, о постоянном чтении в аудитории какой-то английской книги – утверждать трудно, но не подлежит сомнению, что Лермонтов держался в стороне от товарищей, хотя, вероятно, не из гордости или презрения к людям. Такое нелюдимое и угрюмое поведение Лермонтова объясняется отчасти тем, что поэт переживал как раз в эти годы (1829–1831) тяжелый нравственный и умственный кризис: целый ряд самых трудных и сложных вопросов взволновал сразу его ум и душу, и он, по природе скрытный и гордый, предпочел разбираться в них в тиши, не призывая никого на помощь.

Что, собственно, дал Лермонтову московский университет в смысле умственного развития, определить трудно³. На-

³ Лермонтов вспоминал о своем пребывании в университете с иронией: Святое место!.. Помню я, как сон, Твои кафедры, залы, коридоры, Твоих сынов заносчивые споры, О Боге, о вселенной и о том, Как пить – с водой иль просто голый ром; Их гордый вид пред гордыми властями, Их сюртуки, висящие клочками. Бывало, только восемь бьет часов, По мостовой валит народ ученый. Кто ночь провел с лампадой средь трудов, Кто – в грязной луже, Ваххом упоенный, Но все равно задумчивы, без слов Текут... Пришли, шумят... Профессор длинный Напрасно входит, кланяясь чинно, — Он книгу взял, раскрыл, прочел... шумят; Уходит, — втрое хуже...

сколько оживлены были тогда духовные интересы молодежи, — а ведь рядом с Лермонтовым на одной студенческой скамье сидели Белинский, Станкевич, Герцен, К. Аксаков и их друзья, — настолько, за весьма малыми исключениями, мертва была в то время речь преподавателей. Лермонтов, избегая близкого общения с товарищами, тем самым ставил себя и вне их умственных интересов.

Товарищам же бросалась в глаза его светская жизнь и тот круг блестящих барышень, в обществе которых он появлялся в театре и на балах. Внешний лоск молодого студента, сопоставленный с его нелюдимым поведением в аудитории, конечно, подавал повод обвинить его в высокомерии и гордыне.

Станным может показаться, однако, что, несмотря на видимое отчуждение от общей товарищеской жизни, Лермонтов принял участие в известном скандале, устроенном студентами профессору Малову. Но какую именно роль сыграл Лермонтов в этой университетской «истории», с точностью неизвестно.

Имеются также сведения, что Лермонтов ссорился с профессорами на экзаменах, а при тогдашних взглядах на субординацию такие стычки с начальством не могли, конечно, пройти даром. Отразились ли они непосредственно на положении Лермонтова в университете, неизвестно, но только в 1832 году мы застаем поэта в Петербурге со свидетельством от московского университета в том, что он прослушал двух-

летний курс лекций и выбыл из числа слушателей.

IV

Московский период в жизни Лермонтова окончился, когда ему было восемнадцать лет. Чем мог поэт помянуть эти годы?

Жизнь текла однообразно, разделенная между семейными и светскими интересами, хождением в университет и домашними занятиями.

Семья и «свет» не могли наполнить его жизни. Для света Лермонтов был еще слишком молод, а в семье, несмотря на окружавшую его всеобщую любовь, положение его было не из легких.

Профессора давали мало пищи его уму, а шумная, но вместе с тем идейная жизнь товарищей не находила себе отклика.

Домашние занятия шли зато правильно и успешно; юноша быстро развивался, читал много, размышлял и наблюдал.

Недостаток внешних впечатлений вознаграждался, таким образом, для Лермонтова усиленной внутренней жизнью, тем анализом собственных чувств и мыслей, которому он всецело отдался. Плодом этого анализа была очень спешная и напряженная литературная работа. В этот именно короткий промежуток времени, с 1828 по 1832 год, Лермонтовым написаны все многочисленные его юношеские стихотворения, «Демон», «Измаил-бей», «Историческая повесть»,

несколько драм, поэм меньшого размера, набросков и отрывков.

В этих стихах и поэмах перед нами разворачивается очень характерное мирозерцание совсем юного философа, стремящегося преодолеть необычайную трудность тех сложных этических проблем, на которые его наталкивала пока не столько сама жизнь, сколько раздумье о ней.

Юношеские стихотворения

I

Когда мы, ознакомившись с условиями, в которых протекало детство и юность Лермонтова, переходим к чтению его стихотворений, относящихся к этой эпохе, нас поражает в них несоответствие между поэтическим вымыслом автора и тем, что ему дала жизнь. Несложные и очень обыденные житейские явления не согласуются со сложным и совсем необычным духовным миром юного мечтателя.

Юношеские стихотворения Лермонтова затрагивают широкий круг вопросов и частного, и общего характера. Они частью скользят по ним, частью дают на них ответы. Соединяя эти разрозненные ответы в одно целое, мы получаем в итоге довольно своеобразную житейскую философию. Она иногда до того безотрадна и мрачна, до того нервна и подчас болезненна, что читатель, незнакомый с обстоятельствами жизни самого поэта, готов пожалеть гонимого, оскорбленного и несчастного человека, детские впечатления которого излились в таких скорбных и отчаянных песнях.

Но мы знаем, что Лермонтов не был ни гоним, ни несчастен, ни даже оскорблен. Он был от природы меланхолик, не по годам умен, очень впечатлителен и большой мечтатель —

умен прежде всего, и, конечно, этот перевес ума, эта способность, не довольствуясь впечатлением, расчленять его и продолжать его в выводах, сыграла не последнюю роль в укреплении того печального взгляда на жизнь, с которым Лермонтов с детства сроднился. Ранний ум старит ребенка, и преждевременная утрата детской наивности вредно отражается на нем. Эта утрата может стать источником подозрительности и желчности, которая способна заставить человека думать, что природа его обидела, обошла на жизненном пиру, тогда как на самом деле она его слишком одарила.

Биографы поэта часто говорят об известном нам семейном разладе, о ранней смерти матери, о грустной затаенной привязанности ребенка к отцу, об опасной болезни Лермонтова в юности, о не совсем благоприятной его наружности, о его ранней любви, которая должна была разрешиться в тоскливое томление, – одним словом, о многих фактах, печаливших и сердивших поэта. Значения этих случайностей отрицать нельзя, они важны и могли иметь свое влияние на впечатлительную душу юноши, но они такое обыденное явление в жизни многих людей, что едва ли могут быть названы настоящей причиной того мрачного мировоззрения, которое открывается нам в юношеских стихах Лермонтова. И наконец, все эти огорчения искупались житейскими удобствами, заботливостью и теплой любовью, которой было окружено детство этого капризного ребенка.

Главный родник лермонтовского настроения заключается

в самом душевном складе поэта, который дан был ему природой, предрасполагал его к ощущениям известного порядка, оберегал от других, и источников которого никто не уловит и не объяснит. Природа создала Лермонтова, по существу, меланхоликом и мечтателем, и мы можем только проследить, как на этот основной фон ложились временами более темные или более светлые краски.

Уже в юношеских стихах Лермонтова заметна одна черта, которая должна была усилить в нем его пристрастие к печальному. Это была ранняя склонность анализировать умом свои чувства и привычка восполнять мечтой недостаток живых впечатлений.

Лермонтов прожил свое детство и первые годы юности в кругу очень тесном. Интерес дня сосредоточивался на семейных мелочах; широкого общественного кругозора у людей, его окружавших, не было; вопросы литературы были вопросами книжными, а не живыми. Лермонтов читал, но не разговаривал с авторами. Читал он очень много; утверждают, что тринадцати лет от роду он знал уж почти всю русскую литературу и имел богатые сведения по литературам иностранным. Умственная жизнь юного поэта делилась, таким образом, на две неравные половины: с одной стороны, скудный и малоинтересный опыт житейский, с другой – богатый мир чувств и мыслей, вычитанных из книг. Строго разграничить эти два мира Лермонтов был, конечно, не в состоянии, но он был слишком большим мечтателем, чтобы не попы-

таться слить их: мелочи жизни он пригонял и приноравливал к тем сильным и картинно выраженным чувствам, с которыми он встречался в книгах. Отсюда вытекла его склонность преувеличивать собственные ощущения – привычка, не покидавшая его и в зрелые годы.

Наряду с этой привычкой восполнять мечтой недостаток житейского опыта и однообразие переживаемых ощущений поэт с самых юных лет сильно развивал в себе и другую склонность – расчленять разумом то, что он успевал схватить своим чувством. В сущности, разлад между действительностью и мечтой, разгоряченной чтением, был так велик, что многие неиспытанные чувства пришлось уяснять себе разумом; и многие испытанные ощущения добавлять тем же разумом, чтобы сделать их похожими на те, с которыми ум поэта успел уже освоиться по книгам. Эта способность оказала свое опасное влияние на развитие прирожденной поэту грусти.

Естественные и обыденные мысли и чувства, отданные во власть беспощадному анализу, могут привести человека к самым безотрадным и пессимистическим выводам, в особенности, если этот человек так юн, что не имеет за собой никакой жизненной опытности, никаких установившихся убеждений и, кроме того, по природе своей меланхолик. Так, например, чувство семейной горечи могло привести поэта к отрицанию всяких нравственных основ семейной жизни; чувство детской обманутой дружбы – к непризнанию в

людях вообще каких бы то ни было благородных чувств: недовольство ребенком-женщиной – к целой теории женского коварства; смутное сомнение в своих силах – к бреду о собственном ничтожестве. Юношеские стихотворения Лермонтова дают нам разительный пример таких умозаключений, вытекавших из неизбежных мелких неудач и разочарований ежедневной жизни, замкнутой в себе и предоставленной на произвол логического анализа, лишённого всякой житейской опытности.

Меланхолический темперамент, однообразная и огражденная почти со всех сторон жизнь, раннее усиленное чтение, попытка привести это чтение в связь с тем, что удалось испытать на деле, и сильная склонность к рефлексии – вот те условия, при которых мирозерцание ребенка и юноши получило скорбную не по его летам окраску.

II

Прислушаемся к словам поэта. В своих юношеских стихах, в бесчисленных вариациях повторяет Лермонтов все одну и ту же песню об одиночестве, грусти и унынии. Иногда это простое признание в том, что «дух его страждет и грустит», что «уныния печать лежит на нем, потерявшем свои золотые лета». «Отчаяния порыв» тогда охватывает его; он даже не может плакать и «страдает без всяких признаков страданья»; он – «воздушный одинокий царь» и «года, как сны, перед ним уходят».

Иногда это красивые поэтические сравнения. Поэт – как «постигнутый молнией лесной пень, который догорает, гаснет, теряет жизненный сок и не питает своих мертвых ветвей»; он «как пловец среди бури устремляет угасший взор на тучи и молчит, среди крика ужаса, моления и скрипа снастей»:

...жалкий, грустный, я живу
Без дружбы, без надежд, без дум, без сил,
Бледней, чем луч бесчувственной луны,
Когда в окно скользит он вдоль стены.

[1830]

Его судьба, как «тот бледнеющий цветок, который в сырой тюрьме, между камней растет не для цветения, а для

смерти». Он живет, как «камень меж камней, скупясь излить свои страдания»; он — «куст, растущий над морской бездной», «лист, оторванный грозой и плывущий по произволу странствующих вод». Зачем ему жизнь — ему, который «не создан для людей»?

Как в ночь звезды падучей пламень,
Не нужен в мире я.
Хоть сердце тяжело, как камень,
Но все под ним змея.

Меня спасало вдохновенье
От мелочных сует;
Но от своей души спасенья
И в самом счастье нет.

Молю о счастье, бывало,
Дождался наконец,
И тягостно мне счастье стало
Как для царя венец.

И все мечты отвергнув снова,
Остался я один —
Как замка мрачного, пустого
Ничтожный властелин.

[1830]

Любовная связь между ним и людьми порвана. В его серд-

це нет сострадания:

Хоть бегут по струнам моим звуки веселья,
Они не от сердца бегут;
Но в сердце разбитом есть тайная келья,
Где черные мысли живут.

Слеза по щеке огневая катится,
Она не из сердца идет.
Что в сердце, обманутом жизнью, хранится,
То в нем и умрет.

Не смейте искать в сей груди сожаленья,
Питомцы надежд золотых;
Когда я свои презираю мученья,
Что мне до страданий чужих?

[1831]

Да и за что любить людей? Лучше забыть их. Постараться

Чтоб бытия земного звуки
Не замешались в песнь мою,
Чтоб лучшей жизни на краю
Не вспомнил я людей и муки,
Чтоб я не вспомнил этот свет,
Где носит всё печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.

[1831]

И что такое жизнь? – чаша обмана:
Мы пьем из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;

Когда же перед смертью с глаз
Завязка упадает,
И все, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;

Тогда мы видим, что пуста
Была золотая чаша,
Что в ней напиток был – мечта.
И что она – не наша!

[1831]

Не лучше ли стать «уединенным жильцом шести досок»
и протянуть дружественно руку смерти? «И ненавидя и любя, он был во всем обманут жизнью; пора уснуть, уснуть последним сном». Смерть – она не страшна; в ней покой и забвение, и прежде всего забвение людей:

Оборвана цепь жизни молодой,
Окончен путь, бил час – пора домой,

Пора туда, где будущего нет,
Ни прошлого, ни вечности, ни лет;
Где нет ни ожиданий, ни страстей,
Ни горьких слез, ни славы, ни честей,
Где вспоминанье спит глубоким сном,
И сердце в тесном доме гробовом
Не чувствует, что червь его грызет.
Пора. Устал я от земных забот...

Ужели захочу я жить опять,
Чтобы душой по-прежнему страдать
И столько же любить? Всесильный Бог,
Ты знал: я долее терпеть не мог;
Пускай меня обхватит целый ад,
Пусть буду мучиться, я рад, я рад,
Хотя бы вдвое против прошлых дней,
Но только дальше, дальше от людей!

[1830]

Наивен будет, конечно, тот биограф, который поверит этим словам и подумает, что юноша на самом деле готов был кончить счеты с жизнью. Но Лермонтов был искренен; и он был прав, когда писал:

Словам моим верить не станут,
Но клянуся в нелживости их:
Кто сам был так часто обманут,
Обмануть не захочет других.

[1831]

Он не обманывал, и все отчаянно грустные строфы в его песнях – правдивый отголосок одного неразрешенного, грозно нависшего вопроса: стоит ли любить людей и искать сближения с ними?

Этот вопрос получает более определенное решение в тех юношеских стихотворениях Лермонтова, в которых он говорит уже не о стоимости жизни вообще, а о ценности некоторых чувств, наиболее его возрасту доступных, – о ценности любви и дружбы.

III

В одном стихотворении поэт признается, что ввиду трудности задачи бытия он решился несколько упростить ее:

О, мой Отец! где ты? где мне найти
Твой гордый дух, бродящий в небесах;
В твой мир ведут столь разные пути,
Что избирать мешает тайный страх.
Есть рай небесный! звезды говорят;
Но где же? вот вопрос – и в нем-то яд;
Он сделал то, что в женском сердце я
Хотел сыскать отраду бытия.

[1831]

С этим обращением к женскому сердцу как спасительной пристани от всех мучительных вопросов мы переходим к новой черте лермонтовского характера, которая и усладила, и отравила ему впечатления его молодой жизни. Мы говорим о влюбчивости поэта.

Сам Лермонтов был очень откровенен в своих признаниях:

В ребячестве моем тоску любви знойной
Уж стал я понимать душою беспокойной;
На мягком ложе сна, не раз, во тьме ночной,
При свете трепетном лампы образной,

Воображением, предчувствием томимый,
Я предавал свой ум мечте непобедимой:
Я видел женский лик, он хладен был как лед,
И очи – этот взор в груди моей живет;
Как совесть, душу он хранит от преступлений;
Он след единственный младенческих видений.
И деву чудную любил я, как любить,
Не мог еще с тех пор, не стану, может быть.

[1830]

Я не могу любовь определить,
Но это страсть сильнейшая! – Любить
Необходимость мне, и я любил
Всею напряжением душевных сил...

... «О! когда б одно люблю
Из уст прекрасной мог подслушать я,
Тогда бы люди, даже жизнь моя
В однообразном северном краю,
Всё б в новый блеск оделось!»...

[1831]

Таких любовных признаний очень много в юношеских тетрадах поэта. Во всех, и веселых, и печальных, стихотворениях высказана одна и та же мысль – мысль о том, что единственным спасением и утешением в его страдальческой

жизни была эта страсть, рано в нем проснувшаяся⁴ и дорогая ему, несмотря на все разочарования. Лермонтов был искренен, когда говорил о силе и благотворном влиянии этой страсти. Действительно, его рассудок, разлагавший все чувства, имел менее всего власти над этим чувством: сколько

⁴ Если верить Лермонтову, то он впервые влюбился, имея 10 лет от роду. Вот что он занес в свою тетрадку: «1830 г. 8 июля. Ночь. Кто мне поверит, что я знал уж любовь, имея 10 лет от роду? – Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. – К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет, но ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Он мне любезен, сам не знаю почему. – Один раз, я помню, я вбежал в комнату. Она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть сильная, хотя ребяческая; это была истинная любовь; с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку, без причины; желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. – Я не хотел говорить о ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. – Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованию – это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священные... И так рано! в 10 лет. О, эта загадка, этот потерянный рай – до могилы будут терзать мой ум! Иногда мне странно – и я готов смеяться над этой страстью, но чаще – плакать. – Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. – Я думаю, что в такой душе много музыки». Лермонтов полюбил второй раз, когда ему было 12 лет. См. стихотворение «К гению» 1829 года.

раз поэт считал себя обманутым в любви; сколько раз терял веру в ее постоянство, но в силу своей влюбчивой природы он всегда находился под ее обаянием. Он сам признавал, что для его всегда влюбленной души покой —

Лишь глас залетный херувима
Над сонной демонов толпой.

Но любовь неразрывно была сплетена в его сердце с печалью:

И отучить не мог меня обман;
Пустое сердце ныло без страстей,
И в глубине моих сердечных ран
Жила любовь, богиня юных дней;
Так в трещине развалин иногда
Береза вырастает молода
И зелена, и взоры веселит,
И украшает сумрачный гранит.

И о судьбе ее чужой пришлец
Жалеет. Беззащитно предана
Порыву бурь и зною, наконец,
Увянет преждевременно она;
Но с корнем не исторгнет никогда
Мою березу вихрь: она тверда;
Так лишь в разбитом сердце может страсть
Иметь неограниченную власть.

В любви Лермонтов был мечтатель, также неисправимый. Влюбляться ему, конечно, приходилось пока в своих сверстниц; они подрастали, становились барышнями, он оставался мальчиком и мог играть при них только роль поверенного или шафера⁵. Эта роль, конечно, сердила и огорчала поэта, который вдобавок не мог убедить себя в том, что наружность его привлекательна. Он стал считать естественное развитие женских чувств черной изменой и обманом; увлекался по-прежнему, но не упускал случая при каждом новом любовном порыве нарисовать себе картину его печальных последствий. Вот почему в его любовных мотивах к гимну любви всегда примешивается печальная мелодия отвергнутого или обманутого сердца. Сколько нелестных эпитетов сказал он в своих стихах по адресу женщин! Он спрашивал, видел ли

⁵ Искреннее признание такого влюбленного мальчика сохранено в одном стихотворении: Соня видел сон: прохладный гаснул день, От дома длинная ложилась тень, Луна, взойдя на небе голубом, Играла в стеклах радужным огнем; Всё было тихо, как луна и ночь, И ветер не мог дремоты превозмочь. И на большом крыльце меж двух колонн, Я видел деву: как последний сон Души, на небо призванной, она Сидела тут пленительна, грустна; Хоть, может быть, притворная печаль Блестела в этом взоре, но едва ль. Ее рука так трепетна была, И грудь ее младая так тепла; У ног ее (ребенок, может быть) Сидел... ах! рано начал он любить! Во цвете лет, с привязчивой душой, Зачем ты здесь, страдалец молодой?.. И он сидел и с страхом руку жал, И глаз ее движенья провожал. И не прочел он в них судьбы завет, Мучение, заботы многих лет, Болезнь души, потоки горьких слез, Всё, что оставил, всё, что перенес; И дорожил он взглядом тех очей, Причиною погибели своей... [1830]

кто-нибудь женщин «благодарных»? Женщина и измена были для него часто синонимами; перед ним все мелькал лик неверной девы. Он испытал, «как изменять способны даже ангелы»; он состарился от первой любви, он грозил, что из гроба явится на мрачное свидание к изменнице; и много говорил он такого, что он позднее зачеркивал в своих тетрадях или отмечал словом «вздор». Но когда он писал эти строфы, он все это чувствовал, и иногда так глубоко, что чувство выливалось в настоящую художественную форму.

Как хорошо, например, стихотворение в прозе, озаглавленное «Солнце осени»:

Люблю я солнце осени, когда,
Меж тучек и туманов пробираясь,
Оно кидает бледный, мертвый луч
На дерево, колеблемое ветром,
И на сырую степь. Люблю я солнце,
Есть что-то схожее в прощальном взгляде
Великого светила с тайной грустью
Обманутой любви; не холодней
Оно само собою, но природа
И всё, что может чувствовать и видеть,
Не могут быть согреты им. Так точно
И сердце: в нем всё жив огонь, но люди
Его понять однажды не умели,
И он в глазах блеснуть не должен вновь,
И до ланит он вечно не коснется.
Зачем вторично сердцу подвергать

Себя насмешкам и словам сомненья?

[1831]

Или эта покорная жалоба непризнанной любви:

Сонет

Я памятью живу с увядшими мечтами,
Виденья прежних лет толпятся предо мной,
И образ твой меж них, как месяц в час ночной
Между бродящими блистает облаками.

Мне тягостно твое владычество порой;
Твоей улыбкою, волшебными глазами
Порабощен мой дух и скован, как цепями.
Что ж пользы для меня? – я не люблю тобой,

Я знаю, ты любовь мою не презираешь,
Но холодно ее молениям внимаешь.
Так мраморный кумир на берегу морском

Стоит, – у ног его волна кипит, клокочет,
А он, бесчувственным исполнен божеством,
Не внемлет, хоть ее отталкивать не хочет.

[1831]

Все помнят, конечно, и знаменитое стихотворение «Ни-

щий»:

У врат обители святой
Стоял просящий подаюня
Бессильный, бледный и худой
От глада, жажды и страданья.

Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

[1830]

Но пусть суровый ум умерял восторг любви печальным раздумьем; при всей своей меланхолии поэт никогда не мог сказать, что он в любви разочаровался и стал ей недоступен. Он был слишком доступен ей и, зная свою слабость, защищался притворным хладнокровием и презрением. Забыть своей любви он не мог и говорил:

Я не люблю тебя; страстей
И мук умчался прежний сон;
Но образ твой в душе моей

Всё жив, хотя бессилён он.

Другим предавшись мечтам,
Я все забыть его не мог;
Так храм оставленный – всё храм,
Кумир поверженный – всё Бог!

[1830]

И этому Богу любви, не только торжествующему, но и низложенному, он в юные годы чаще всего молился.

Нельзя сказать, однако, что эта молитва мирила поэта с людьми. И в ней звучал вопрос – да стоит ли любить, когда столько страданий сопряжено с этой радостью? А за этим вопросом следовал другой – почему люди бывают так неискренни и жестоки, и если они таковы, то не лучше ли от них отвернуться? Даже если они отвечают любовью на любовь, то и тогда не предпочесть ли одиночество?

И Лермонтов как будто следовал этому правилу, если не в любви к женщине, то в чувстве дружбы.

В годы, когда зрел талант Лермонтова, культ дружбы и в жизни, и в стихах был особенно развит. Но в стихотворениях нашего молодого пессимиста таких мотивов почти совсем нет; есть два-три стихотворения, в которых он прощается с чувством дружбы, и лишь одно, в котором он ее приветствует.

Кажется, что и на самом деле у него в те годы близких друзей-сверстников не было... Это очень характерно. Итак,

анализ ума коснулся и этих двух чувств, столь естественных и столь наивных в юношеском возрасте. Любовь и дружба вместо того, чтобы отвечать на запросы ума и сердца, как это обыкновенно в юности бывает, сами ставили молодому философу труднейший вопрос о своем нравственном оправдании.

IV

Если встреча с людьми вызывала такую тревогу в юной душе Лермонтова – можно было предположить, что хоть природа окажет на него успокаивающее влияние. Он любил природу, и – если судить по его стихотворениям – в юные годы не меньше, чем в зрелые. Созерцание ее красоты его умиротворяло. Поэт любил сравнивать покой природы с людской тревогой – мчался ли он «на лихом коне при луне, в ущельях гор или средь степей», упрекая себя в том, что человек «на своем коне хочет оспаривать у природы ее владычество – спокойное и красивое»; глядел ли он на кавказские вершины и оплакивал их вольность, размышляя о том, как «пещеры и скалы слышат крик страстей, звон славы, цепей и злата».

Кавказ в особенности поразил Лермонтова своей дикой красотой, в которой буря и покой так таинственно сливались⁶. Толпы звезд и ночные своды казались поэту залогом

⁶ В юношеских тетрадах Лермонтов в таких строках изъяснялся в любви этому краю, после первого своего знакомства с ним. Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали; вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирует, хотя в то мгновенье гордился он ею! * * * Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов; они так сияли в лучах восходящего солнца, и в розовый блеск одеваясь, они, между тем как внизу все темно, возвещали прохожему утро. И розовый цвет их подоился цвету стыда: как будто девицы, когда вдруг

каких-то обещаний Божиих, хотя он и чувствовал, что ему не придется быть свидетелем их исполнения.

В сущность этих Божиих обещаний поэт тогда еще не вникал: дума о Боге пришла к нему позднее. В юные годы он в стихах не молился и только раз просил у Всесильного прощения в том, что он, поэт, любит «мрак земли с ее страстями, что редко к нему в душу входит струя живых Божиих речей, что лава вдохновения клокочет в его груди, что дикие волнения мрачат его очи и он в песнях молится, но только не Богу». Он просил Бога «угасить в нем дар вдохновения, преобразить его сердце в камень» и обещал тогда обратиться на тесный путь спасения. Поэт, очевидно, представлял себе Бога слишком ревнивым и жестоким. Но не всегда. Иногда казалось ему, что и Бог любит песни и разрешает своим ангелам полуночи петь их, когда они несут в своих объятьях младую душу, которая в мире слез и печали осуждена томиться и сквозь сон души, среди скучных песен земли, вспоминать

увидят мужчину, купаясь, и так оробеют, в таком уж смущении, что белой одежды накинуть на грудь не успеют. Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные, громкие бури, которым пещеры, как стражи ночей, отвечают!.. На гладком холме одинокое дерево, ветром, дождями нагнутое, иль по краям тропы виноградник, шумящий в ущелье, и путь неизвестный над пропастью, где, покрываясь пеной, бежит безыменная речка, и выстрел неожиданный, и страх после выстрела: враги коварный иль просто охотник... все, все в этом крае прекрасно. Воздух так чист, как молитва ребенка. И люди, как вольные птицы, живут беззаботно; Война их стихия, и в смуглых чертах их душа говорит, В дымной сакле, землей иль сухим тростником Покровенной, таятся их жены и девы и чистят оружие, И шьют серебром – в тишине увядая Душою – желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой. [1830]

о песне небесной.

Были же мирные, хоть и печальные чувства, которые природа и Бог вселяли в это тревожное сердце!

V

Но тревога сердца не унималась; она, напротив, возрастала, и поэт отчетливо сознавал, что все мечты об уединении, об одиночестве, о бегстве от людей несовместимы с его темпераментом, который «ищет бури». Ему самому было ясно, что покой, о котором он вздыхал, есть отрицание всей его душевной и духовной сущности. Недаром он говорил, что его настоящее «облито чудными страстями», недаром хотел он назваться «братом бури». «Невинная любовь не льстила его душе»; он «искал измен» и новых чувств, которые своей «колкостью оживили бы его кровь, угасшую от грусти». «Печален степи вид», — писал он в одной из своих ранних поэм («Джулио»), —

где без препон
Скитается летучий Аквилон,
И где кругом, как зорко ни смотри,
Встречаете березы две иль три,
Которые под синеватой мглой
Чернеют вечером в дали пустой:
Так жизнь скучна, когда борений нет.

[1830]

И если жизнь дана, то пусть она бьет ключом:

Источник страсти есть во мне
Великий и чудесный;
Песок серебряный на дне,
Поверхность лик небесный;
Но беспрестанно быстрый ток
Воротит и крутит песок,
И небо над водами
Одето облаками.
Родится с жизнью этот ключ
И с жизнью исчезает;
В ином он слаб, в другом могуч,
Но всех он увлекает;
И первый счастлив, но такой
Я праздный отдал бы покой
За несколько мгновений
Блаженства иль мучений.

[1831]

И нельзя же было поэту помириться с праздным покоем, когда он сам создавал, что он одарен «деятельным гением», и верил, что этот гений пробьется сквозь все испытания. Про свое сердце Лермонтов говорил:

Что в нем живет, то в нем глубоко.
Я чувствую – судьба не умертвит
Во мне возросший деятельный гений;
Но что его на свете сохранит
От хитрой клеветы, от скучных наслаждений,

От истощительных страстей,
От языка ласкателей развратных
И от желаний, непонятных
Умом посредственных людей?..

(Которые не понимают того человека),

... кто в грудь втеснить желал бы всю природу,
Кто силится купить страданием своим
И гордою победой над земным
Божественной души безбрежную свободу.

[1831]

Торжествовать гордую победу над земным – таково было нескромное желание поэта; и оно не было минутным капризом его настроения. Лермонтов был убежден, что он призван свершить нечто великое.

VI

Мы напрасно стали бы искать какой-нибудь определенной программы в этих неясных порывах молодой фантазии «к великому». Голова мальчика, разгоряченная ранним чтением книг, по преимуществу романтического содержания, бредила рыцарскими подвигами, мечтала о Шотландии⁷, о Кавказе и его героях, о Древней Руси с ее богатырями, о Риме, о морских разбойниках, – одним словом, обо всем, на чем только лежала печать внутреннего или внешнего величия. Понятно, что поэт и наслаждался этим миром, и жил в нем как его воображаемый участник, как его герой.

Но сама жизнь охлаждала на каждом шагу эту чрезмерно пылкую фантазию, и ранняя меланхолия находила себе новую пищу в дисгармонии мечты и действительности.

⁷ Этой далекой своей родине (поэт вел свой род от шотландских рыцарей) Лермонтов посвятил одно из самых грациозных своих юношеских стихотворений: Желание. Зачем я не птица, не ворон степной, Пролетевший сейчас надо мной? Зачем не могу в небесах я парить И одну лишь свободу любить? На запад, на запад помчался бы я, Где цветут моих предков поля, Где в замке пустом, на туманных горах, Их забвенный покоится прах. На древней стене их наследственный щит И заржавленный меч их висит. Я стал бы летать над мечом и щитом И смахнул бы я пыль с них крылом; И арфы шотландской струну бы задел, И по сводам бы звук полетел; Внимаем одним, и одним пробужден, Как раздался, так смолкнул бы он. Но тщетны мечты, бесполезны мольбы Против строгих законов судьбы. Меж мной и холмами отчизны моей Расстилаются волны морей. Последний потомок отважных бойцов Увядает средь чуждых снегов; Я здесь был рожден, но не здешний душой... О! зачем я не ворон степной?... [1831]

Несмотря на все разочарования, мечта Лермонтова никогда не желала признать себя побежденной. Она успела пустить глубокие корни в сердце поэта. Постоянное желание быть участником великих дел, хотя бы и неясных, повлекло за собою уверенность в том, что этот сон должен осуществиться. Мысль об осуществлении его совпала у Лермонтова с мыслью о собственном призвании. Поэт не скрывал своих гордых дум. Он открыто признавался, что ищет славы, что хочет во всем дойти до совершенства, что он страдает оттого, что в настоящем все не так, как бы ему хотелось... он чувствовал в себе темперамент бойца и в своих стихотворениях часто говорил о бойце-воине и бойце-поэте. Он сам себе пророчил эту славную будущность и был очень нескромен, когда говорил о своем призвании:

...для небесного могилы нет.
Когда я буду прах, мои мечты,
Хоть не поймет их, удивленный свет
Благословит...

...неведомый пророк
Мне обещал бессмертье...

...отчего не понял свет
Великого, и как он не нашел
Себе друзей, и как любви привет
К нему надежду снова не привел?

Он был ее достоин...

[1831]

Лермонтов нам не сказал, что именно желал он совершить достойного бессмертия и величия. Каждый раз, когда он касался этого вопроса, он обходил его в общих выражениях; он только боялся, что не успеет совершить «чего-то». Это «что-то» остается неуловимым призраком, который преследует и Лермонтова, и всех его героев. Всегда им кажется, что они делают не то, что следует.

В годы, о которых мы говорим, Лермонтов отдавался этим мечтам о своем великом призвании с легковерием ребенка, хотя каждый прилив таких героических чувств был неразрывно связан с таким же наплывом сомнения. Мечтая о высоком и великом призвании, поэт ежеминутно отдавал себе отчет в том, что все эти мечты, быть может, не более как мечты – плод его разгоряченной фантазии, что то «великое», к которому он стремится, останется для него недостижимым, что он, сделав попытки к его достижению, лишь навлечет на себя недовольство окружающих, их проклятие, будет заклемен ими и отвергнут, непонят и даже «казнен»⁸. Фантазия Лермонтова вообще не была скупа на темные краски, и потому раз только ему запала в голову мысль, что он будет гоним людьми за высокие идеалы, за стремление к великим, хотя и туманным подвигам, он не замедлил развить эту мысль до

⁸ О ком вспоминал он при этих думках о казни?

ее последних крайностей.

Он вырисовывал целую картину нравственных и физических мучений, действующим лицом которой являлся он сам. Понятно, что эта картина была им придумана, а не выстрадана, — почему юношеские стихи Лермонтова, в которых попадают эти страшные кошмары, и носят на себе следы деланности и вычурности. Мы приведем для примера наиболее характерные выдержки, где основная мысль о жалкой и страшной участи, которая ожидает поэта, выражена наиболее ярко:

Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь Творец;
Но равнодушный мир не должен знать.
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне.

[1831]

Настанет день — и миром осужденный,
Чужой в родном краю,
На месте казни — гордый, хоть презренный —
Я кончу жизнь мою...

[1830]

Когда к тебе молвы рассказ
Мое названье принесет
И моего рожденья час
Перед полмиром проклянет,
Когда мне пищей станет кровь
И буду жить среди людей,
Ничью не радуя любовь
И злобы не боясь ничьей...

[1830]

Читая такие и подобные им тирады, хочется сказать Лермонтову словами одного из его героев: «Ты строишь химеры в своем воображении и даешь им черный цвет для большего романтизма!» Эти мрачные картины были, несомненно, химеры, как и те светлые мысли о великом призвании, которые их вызывали. Но в них была и истина.

Что такое, в сущности, эти мечты, как не поэтическое приподнятое выражение вполне понятного желания поэта жить действуя и влияя на жизнь, — желания, чтобы жизнь считалась с ним, как с живой силой? Что Лермонтов, при всем своем пессимизме, искал такого сближения с жизнью и людьми, и что он, насколько ему позволяли его годы и условия жизни, зорко следил за тем, что на земле, вблизи его и вдали его, творилось — на это есть прямые указания в его юношеских стихотворениях.

VII

В одном из самых мрачных стихотворений («Ночь»), обращаясь к смерти, Лермонтов говорил:

Ах! – и меня возьми, земного червя —
И землю раздоби, гнездо разврата,
Безумства и печали!..
Всё, всё берет она у нас обманом
И не дарит нам ничего – кроме рожденья!..
Проклятье этому подарку!..

[1830]

Но поэт говорил слова, которым сам не верил. В этом проклятии земле звучала, в сущности, большая любовь к ней. Прежде чем просить смерть раздробить землю, он признавался сам себе:

...одно
Сомненье волновало грудь мою,
Последнее сомненье! Я не мог
Понять, как можно чувствовать блаженство
Иль горькие страдания далеко
От той земли, где первый раз я понял,
Что я живу, что жизнь моя безбрежна,
Где жадно я искал самопознания,
Где столько я любил и потерял...

Искренность этих последних слов подтверждается и другими стихотворениями. Припомним одно, очень характерное («Земля и небо»):

Как землю нам больше небес не любить?
Нам небесное счастье темно;
Хоть счастье земное и меньше в сто раз,
Но мы знаем, какое оно.

О надеждах и муках былых вспоминать
В нас тайная склонность кипит;
Нас тревожит неверность надежды земной,
А краткость печали смешит.

Страшна в настоящем бывает душе
Грядущего темная даль;
Мы блаженство желали б вкусить в небесах,
Но с миром расстаться нам жаль.

Что во власти у нас, то приятнее нам,
Хоть мы ищем другого порой,
Но в час расставанья мы видим ясней,
Как оно породнилось с душой.

[1831]

Та же мысль выражена и в словах:
Стремится медленно толпа людей,

До гроба самого от самой колыбели,
Игралищем и рока, и страстей
К одной, святой, неизъяснимой цели.
И я к высокому, в порыве дум живых,
И я душой летел во дни былые;
Но мне милей страдания земные:
Я к ним привык и не оставлю их...

[1829]

Но одной любви мало для того, кто жаждет великого подвига. Надо же знать, с каким сочетать ее действием.

Нельзя требовать от юного мечтателя, чтобы он на этот вопрос ответил сразу и вполне определенно. Достаточно будет, если он себя начнет готовить к решению, выясняя себе, с чем именно должно бороться. А как бороться с тем, что считаешь злом, какой избрать путь для подвига – это должна указать сама жизнь, если только она протечет в условиях благоприятных для этих поисков и не оборвется слишком рано.

VIII

И Лермонтов с ранних лет торопился развить в себе строгое критическое отношение к жизни. Его юношеский взгляд на жизнь был значительно шире, чем можно было предполагать, судя по впечатлениям, какие ему могла дать замкнутая обстановка, в которой он вырос. Оказывается, что Лермонтов рано успел задуматься не только над общими этическими вопросами, но вдумывался и в вопросы общественно-политические, от которых, казалось, жизнь держала его в таком отдалении.

Он бывал иногда увлечен «свободой» и «вольностью». Целую поэму посвятил он прославлению «последнего сына вольности» – легендарного Вадима, столь популярного у наших либералов 20-х годов. Он перелагал в стихи народные разбойничьи песни («Атаман», 1831) и красота таких переложений указывает на то, что сердце его лежало к таким мотивам. Вспомним, например, стихотворение «Воля» (1831):

Моя мать – злая кручина,
Отцом же была мне – судьбина,
Мои братья, хоть люди,
Не хотят к моей груди
Прижаться:
Им стыдно со мною,
С бедным сиротою,

Обняться.

Но мне Богом дана

Молодая жена,

Воля-волюшка,

Вольность милая,

Несравненная.

С ней нашлись другие у меня —

Мать, отец и семья;

А моя мать — степь широкая,

А мой отец — небо далекое.

Они меня воспитали,

Кормили, поили, ласкали;

Мои братья в лесах —

Березы да сосны.

Несусь ли я на коне, —

Степь отвечает мне;

Брожу ли поздней порой, —

Небо светит мне луной;

Мои братья в летний день,

Призывая под тень,

Машут издали руками,

Кивают мне головами;

И вольность мне гнездо свила,

Как мир — необъятное!

Но такое вольнолюбие сомнительного свойства находило свою поправку в более сознательном отношении к свободе.

В юношеских тетрадах Лермонтова встречается немало заметок и стихов, в которых он прямо касается политических событий своего времени. Суждения его о них самые свободомыслящие, для тех годов даже очень смелые. Есть резкая, правда, запоздалая, выходка против «тирана» Аракчеева («Новгород», 1830), весьма непочтительная сатира по адресу королей («Пир Асмодея», 1830) и малопонятное предсказание для России какого-то черного года, чуть ли не возвращения пугачевщины («Предсказание», 1830)⁹.

Пусть все это незрело и непродуманно, но очевидно, что мысль Лермонтова начинала работать в этом направлении очень рано, и некоторые его позднейшие стихотворения, заподозренные в либерализме, были, как видим, не капризом, а плодом раздумья.

Есть в юношеских тетрадах поэта также два стихотворения, посвященные июльской революции, – оба восторженные и полные радикального духа, хотя слабые по выполнению.

Есть одно стихотворение, очень умное и красивое – при-

⁹ Предсказание Это мечта. Настанет год, России черный год, Когда..... упадет; Забудет чернь к ним прежнюю любовь, И пища многих будет смерть и кровь; Когда детей, когда невинных жен Низвергнутый не защитит закон; Когда чума от смрадных, мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин вызывать, И станет глад сей бедный край терзать; И зарево окрасит волны рек: В тот день явится мощный человек, И ты его узнаешь – и поймешь, Зачем в руке его булатный нож: И горе для тебя! – твой плач, твой стон Ему тогда покажется смешон; И будет всё ужасно, мрачно в нем, Как вид его с возвышенным челом.

вет какому-то певцу, который был изгнан из страны родной, но, очевидно, не за любовь к музам:

О, полно извинять разврат!
Ужель злодеям щит порфира?
Пусть их глупцы боготворят,
Пусть им звучит другая лира;
Но ты остановись, певец,
Златой венец не твой венец.

Изгнанием из страны родной
Хвались повсюду как свободой;
Высокой мыслью и душой
Ты рано одарен природой;
Ты видел зло и перед злом
Ты гордым не поник челом.

Ты пел о вольности, когда
Тиран гремел, грозили казни;
Боясь лишь вечного Суда
И чуждый на земле боязни,
Ты пел, и в этом есть краю
Один, кто понял песнь твою.

[1830]

Наконец, есть «Монолог» – печальное размышление над нашей русской жизнью – первый набросок знаменитой «Думы»: «Печально я гляжу на наше поколение». Этот «моно-

лог» обнаруживает в авторе большую силу ума и наблюдательности: Поверь, — пишет он, —

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познания, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешние растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное течение...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжело, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.

[1829]

Эти первые гражданские мотивы лермонтовской поэзии указывают, что наш юный пессимист вовсе не был так далек от людей и жизни, как ему хотелось себя самого в этом уверить.

Да и был ли он пессимистом? В его юношеских тетрадях попадаются, правда, изредка, совсем жизнерадостные мысли.

IX

Иногда эта жизнерадостность является с примесью иронии:

Я верю, обещаю верить,
Хоть сам того не испытал,
Что мог монах не лицемерить
И жить, как клятвой обещал;
Что поцелуи и улыбки
Людей коварны не всегда,
Что ближних малые ошибки
Они прощают иногда,
Что время лечит от страданья,
Что мир для счастья сотворен,
Что добродетель не название,
И жизнь поболее, чем сон!..

Но вере теплой опыт хладный
Противоречит каждый миг,
И ум, как прежде безотрадный
Желанной цели не достиг;
И сердце, полно сожалений,
Хранит в себе глубокий след
Умерших – но святых видений,
И тени чувств, каких уж нет;
Его ничто не испугает,

И то, что было б яд другим,
Его живит, его питает
Огнем язвительным своим.

[1831]

Иногда с примесью горечи и печали:

Мы сгинем, наш сотрется след,
Таков наш рок, таков закон;
Наш дух вселенной вихрь умчит
К безбрежным, мрачным сторонам.
Наш прах лишь землю умягчит
Другим, чистейшим существам.
Не будут проклинять они;
Меж них ни злата, ни честей
Не будет. – Станут течь их дни,
Невинные, как дни детей;
Меж них ни дружбу, ни любовь
Приличья цепи не сожмут,
И братьев праведную кровь
Они со смехом не прольют!..

К ним станут (как всегда могли)
Слетаться ангелы. – А мы
Увидим этот рай земли,
Окованы над бездной тьмы.
Укоры зависти, тоска
И вечность с целию одной:
Вот казнь за целые века

Злодейств, кипевших под луной.

[1830]

Иногда в самой чистой своей форме, незапятнанной никаким сомнением («Мой дом»):

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Всё, в чем есть искра жизни, в нем живет,
И для поэта он не тесен.

До самых звезд он кровлей достигает,
И от одной стены к другой
Далекий путь, который измеряет
Жилец не взором, но душой.

Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, течение века
Объемлет в краткий миг оно.

И Всемогушим мой прекрасный дом
Для чувства этого построен,
И осужден страдать я долго в нем,
И в нем лишь буду я спокоен.

[1830]

Когда б в покорности незнания

Нас жить Создатель осудил,
Неисполнимые желанья
Он в нашу душу б не вложил,
Он не позволил бы стремиться
К тому, что не должно свершиться,
Он не позволил бы искать
В себе и в мире совершенства,
Когда б нам полного блаженства
Не должно вечно было знать.

Но чувство есть у нас святое,
Надежда, бог грядущих дней —
Она в душе, где всё земное,
Живет наперекор страстей;
Она залог, что есть поныне
На небе иль в другой пустыне
Такое место, где любовь
Предстанет нам, как ангел нежный,
И где тоски ее мятежной
Душа узнать не может вновь.

[1831]

Все эти порывы радостных и радужных чувств – возражение самому себе на слишком поспешные печальные выводы из житейских впечатлений. Но счесть их за конечную поправку этих печальных выводов нельзя: поэт может отречься от таких мирных и светлых мыслей каждую минуту.

Х

Так сбивчивы, противоречивы, недосказаны и невыношенны все суждения юного Лермонтова о жизни и людях. Перед ним ряд загадок, который поэт стремится решить во что бы то ни стало. Решение, какое он дает им, иногда повышает в нем симпатичные и радостные чувства, иногда, наоборот, вызывает самые печальные и злобные. Эта смена настроений повергает его в большую тревогу и боязнь, что он никогда не решит трудной задачи, никогда ясного пути перед собой не увидит.

Любил с начала жизни я
Угрюмое уединенье,
Где укрывался весь в себя,
Бояся, грусть не утая,
Будить людское сожаленье;

Счастливы, мнил я, не поймут
Того, что сам не разберу я,
И черных дум не унесут
Ни радость дружеских минут,
Ни страстный пламень поцелуя.

Мои неясные мечты
Я выразить хотел стихами,
Чтобы, прочтя сии листы,

Меня бы примирила ты
С людьми и с буйными страстями;

Но взор спокойный, чистый твой
В меня вперился изумленный,
Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой,
Желаньем вздорным ослепленный.

Я, веруя твоим словам,
Глубоко в сердце погрузился,
Однако же нашел я там,
Что ум мой не по пустякам
К чему-то тайному стремился,

К тому, чего даны в залог
С толпою звезд ночные своды,
К тому, что обещал нам Бог
И что б уразуметь я мог
Через мышления и годы.

Но пылкий, но суровый нрав
Меня грызет от колыбели...
И в жизни зло лишь испытал,
Умру я, сердцем не познав
Печальных дум, печальной цели.

[1830]

Среди юношеских стихотворений Лермонтова сохрани-

лась одна весьма откровенная исповедь, в которой поэт как будто бы хотел сомкнуть в одно целое все волновавшие его в те годы чувства и мысли. Исповедь эта озаглавлена «1831-го, июня 11 дня», и с некоторыми строками из нее мы уже знакомы.

Вспомним ее частями, чтобы закруглить словами самого поэта все уже сказанное о его юношеских мечтах, думах и настроениях. Лермонтов писал:

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала. Я любил
Все обольщенья света, но не свет,
В котором я минутами лишь жил;
И те мгновенья были мук полны,
И населял таинственные сны
Я этими мгновеньями. Но сон,
Как мир, не мог быть ими омрачен.

Как часто силой мысли в краткий час
Я жил века и жизнью иной,
И о земле позабывал. Не раз,
Встревоженный печальною мечтой,
Я плакал; но все образы мои,
Предметы мнимой злобы иль любви,
Не походили на существ земных.
О нет! всё было ад иль небо в них.

Холодной буквой трудно объяснить

Боренье дум. Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства. Пыл страстей
Возвышенных я чувствую, но слов
Не нахожу и в этот миг готов
Пожертвовать собой, чтоб как-нибудь,
Хоть тень их перелить в другую грудь.

Известность, слава, что они? – а есть
У них и надо мною власть: они
Велят себе на жертву всё принести,
И я влачу мучительные дни
Без цели, оклеветан, одинок;
Но верю им! – неведомый пророк
Мне обещал бессмертье, и живой
Я смерти отдал всё, что дар земной.

.....
Никто не дорожит мной на земле,
И сам себе я в тягость, как другим;
Тоска блуждает на моем челе,
Я холоден и горд; и даже злым
Толпе кажуся; но ужель она
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нем заключено?
Огонь иль сумрак там – ей все равно.

.....
Грядущее тревожит грудь мою.
Как жизнь я кончу, где душа моя
Блуждать осуждена, в каком краю

Любезные предметы встречу я?
Но кто меня любил, кто голос мой
Услышит, и узнает? И с тоской
Я вижу, что любить, как я, порок,
И вижу, я слабей любить не мог.

.....
Под ношей бытия не устает
И не хладеет гордая душа;
Судьба ее так скоро не убьет,
А лишь взбунтует; мщением дыша
Против непобедимой, много зла
Она свершить готова, хоть могла
Составить счастье тысячи людей:
С такой душой ты Бог или злодей...

.....
Так жизнь скучна, когда боренья нет.
В минувшее проникнув, различить
В ней мало дел мы можем, в цвете лет
Она души не будет веселить.
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.

Всегда кипит и зреет что-нибудь
В моем уме. Желанье и тоска
Тревожат беспрестанно эту грудь.
Но что же? Мне жизнь всё как-то коротка
И всё боюсь, что не успею я

Свершить чего-то! – жажда бытия
Во мне сильней страданий роковых,
Хотя я презираю жизнь других.

Есть время – леденеет быстрый ум;
Есть сумерки души, когда предмет
Желаний мрачен: усыпление дум;
Меж радостью и горем полусвет;
Душа сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна.
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чем.

Я к состоянью этому привык...

.....

Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь Творец;
Но равнодушный мир не должен знать,
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне.

.....

Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста,
На диком берегу ревущих вод
И под туманным небом; пустота
Кругом. Лишь чужестранец молодой,

Невольным сожаленьем и молвой
И любопытством приведен сюда,
Сидеть на камне станет иногда.

И скажет: отчего не понял свет
Великого, и как он не нашел
Себе друзей, и как любви привет
К нему надежду снова не привел?
Он был ее достоин. И печаль
Его встревожит, он посмотрит вдаль,
Увидит облака с лазурью волн,
И белый парус, и бегучий челн.

И мой курган! – любимые мечты
Мои подобны этим. Сладость есть
Во всем, что не сбылось, – есть красоты
В таких картинах; только перенести
Их на бумагу трудно: мысль сильна,
Когда размером слов не стеснена,
Когда свободна, как игра детей,
Как арфы звук в молчании ночей!

Исповедь очень туманная, как видим; ряд ощущений мимолетных, ряд набежавших мыслей и картина близкой смерти, которая должна разрешить всю эту путаницу. Ясного сознания прожитого момента нет, нет и никаких видов на будущее. Сумерки души – как говорит поэт. И действительно,

такие сумерки лежали тогда над душой Лермонтова¹⁰.

Да и могло ли быть иначе, когда самые трудные этические вопросы жизни обступали молодой ум и он в решении их должен был полагаться на впечатления минуты? И минута-ми поэт и любил людей, и ненавидел их, и искал их встречи, и сторонился от них. Минутами верил, что ради них призван действовать, затем не верил в свое призвание; минута-ми проклинал мир, а затем пророчил ему счастливую будущность.

Во всех этих колебаниях и противоречиях было только одно постоянное – ощущение боли от растерянности перед нравственными требованиями, которые ставишь себе самому и окружающим людям.

О! если так меня терзало
Сей жизни мрачное начало,
Какой же должен быть конец?

[1830]

¹⁰ Есть сумерки души в цвете лет, Меж радостью и горем полусвет; Жмет сердце безотчетная тоска; Жизнь ненавистна, но и смерть тяжка. [«Джулио», 1830] Есть сумерки души, несчастья след, Когда ни мрака в ней, ни света нет. Она сама собою стеснена, Жизнь ненавистна ей, и смерть страшна; И небо обвинить нельзя ни в чем, И как на зло всё весело кругом! [«Литвинка», 1830]

Учителя и книги

I

Высказывалось иногда мнение, что взгляды и чувства, выраженные в юношеских стихах Лермонтова, – чувства напускные и мысли заимствованные. У кого они могли быть заимствованы?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.